

18+

Андрей
Колесников
Попасть
в переплёт

Избранные места
из домашней
библиотеки

Андрей Владимирович Колесников
Попасть в переплёт. Избранные
места из домашней библиотеки
Серия «Независимый текст»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69758977

*Попасть в переплёт. Избранные места из домашней библиотеки /
Андрей Колесников: АСТ : Редакция Елены Шубиной; Москва; 2023
ISBN 978-5-17-156235-9*

Аннотация

***НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ)
ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН
ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КОЛЕСНИКОВЫМ АНДРЕЕМ
ВЛАДИМИРОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КОЛЕСНИКОВА АНДРЕЯ
ВЛАДИМИРОВИЧА.**

Андрей Колесников – журналист и политический аналитик, автор нескольких книг, среди которых мемуарный том “Дом на Старой площади”. Лауреат ряда профессиональных премий, в том числе Премии имени Егора Гайдара (2021) “за выдающийся вклад в области истории”.

“По Борхесу, библиотека – это Вселенная. А домашняя библиотека – это вселенная одной семьи. Она окружает как лес.

Внутри этого леса, под корой книг-деревьев, идет своя жизнь, прячутся секреты – записочки, рисунки, троллейбусные билеты, квитанции на давно исчезнувшие предметы одежды. Книги, исчерканные пометами нескольких поколений, тома, которыми пользовались для написания школьных сочинений и прабабушка, и правнук. Запахи книг многослойные, сладковатые и тактильные ощущения от обложек – это узнавание дома, это память о семье. Корешки собраний сочинений – охрана от враждебного мира. Стоят рядами темно-зеленые тома Диккенса и Чехова, зеленые Гоголь и Тургенев, темно-красные Драйзер и Фейхтвангер, темно-голубой Жюль Верн и оранжевый Майн Рид – и держат оборону. Жизнь продолжается..."

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Содержание

Подписано в печать	6
Говорит “Москва”	48
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Андрей Колесников Попасть в переплёт. Избранные места из домашней библиотеки

Художник Андрей Бондаренко

В оформлении переплета использована картина Семена
Агроскина



© Колесников А.В., текст, 2023

© Бондаренко А.Л., художественное оформление, 2023

© Агроскин С.Е., иллюстрация, 2022

© ООО “Издательство АСТ”

Подписано в печать

Никто из них мне не снится. Зато они могут возникать в памяти на невидимой границе яви и сна. Как “тетя” Соня Рейн, ставшая для меня символом старой коммунальной Москвы: ее образ – это, скорее, не она сама, а крошечная комната окнами во двор-колодец, смешанный запах старости и лекарств, закупоренный в этом прямоугольном пространстве. Она – близкий человек, которого звали “тетей” несколько поколений семьи в течение десятилетий. Мы с мамой навещали ее очень часто. Мои воспоминания о ней обволакивает подлинная, ушедшая Москва: Чистопрудный бульвар, гроыхающие трамваи, гулкие проходные дворы, переулки, резко разделенные на солнечную и теневую стороны, величественное и одновременно по-советски убогое парадное и причудливая широкая лестница в рембрандтовском уютном полумраке. Всё то, чего не было на нашей комфортабельной окраине на западе города.

Соня всегда была “тетей”, а на самом деле мне она приходилась “пратетей” – двоюродной прабабушкой. Здесь же рядом, в десяти минутах старикинской ходьбы, в переулке, примыкавшем к Покровскому бульвару, до своей кончины в конце 1950-х жила прабабушка Анна – из рода, носившего фамилию Рейн.

Лицо тети Сони сохранилось в памяти нечетко и обретает

внятные очертания только на графической картине ее племянницы, известной художницы Тамары Рейн. Лето, бабочки, старушка. И ощущение – ее локтями – алюминиевых подлокотников складного дачного стула.

В своем завещании, оставленном маме и папе перед самоубийством, тетя Геня среди точных указаний, как и между кем распределить ее скудное имущество, состоявшее в основном из книг, с холодноватой ясностью написала: “Письма Николая Александровича прошу уничтожить”. Книги тети Гени перекочевали в нашу библиотеку. На художественных альбомах – дарственные надписи этого человека, чьи письма мама, следуя воле покойной, вероятно, и в самом деле уничтожила. Макс Брод не исполнил волю Франца Кафки, Дмитрий Набоков не уничтожил “Оригинал Лауры” Владимира Набокова вопреки воле отца. Но надо было знать мою маму: если любимая тетя сказала сжечь, значит, надо сжечь. Черная бездна поглотила еще одну историю любви, полную трагических сомнений уже не слишком молодой – тем более по меркам советского времени – возлюбленной: не предает ли она память погибшего во время войны мужа и умерших от последствий ленинградской блокады двух ее детей новой любовью к этому интеллигентному, судя по выбору книг, человеку?

Я всегда воображал его типичным представителем советской технической интеллигенции, внимательным, обходи-

тельным и дружелюбным мужчиной за пятьдесят, умолявшим тетю Геню выйти за него замуж, посещавшим ее в костюме и галстук и непременно с цветами. “Моей Генюрке” – так надписывал он ей книги. “Моей”! А она не считала, что стала “его”. Так и не вышла замуж и не родила новых детей взамен старых; впрочем, наверное, любовь случилась уже тогда, когда любящие были в возрасте бабушек и дедушек. И всегда жила одна – что в том самом Казарменном переулке, примыкавшем к Покровскому бульвару, что потом у черта на рогах в квартирке в Вишняках, выйдя на пенсию из военно-морского ведомства, где ее проводили очередной почетной грамотой и прочими трогательными прощальными знаками внимания. Она писала стихи (“Ночь. Вешняки. Край новоселов...”), решала кроссворды, навещала любимую племянницу, мою маму, и купалась в преданной любви всей нашей семьи – и моем обожании. А потом заболела раком и умерла. Разумеется, мне не сказали, что это было самоубийство, хотя мне уже исполнилось тринадцать лет и за полтора года до этого я видел смерть – старшая сестра тети Гени, моя бабушка, внезапно скончалась на моих глазах. И вот вам: “Письма Николая Александровича прошу уничтожить”. Какая несправедливость!

Иногда в своей дочери я вдруг нахожу черты тети Гени. Девочка с миндалевидными глазами. Блуждающий ген, перескакивающий поколения.

Сон о встроенном шкафе. В нашей квартире, типичной для “цековских” кирпичных домов конца 1960-х – начала 1970-х, при входе справа в коридоре был встроенный шкаф для одежды. Мне приснилась мама, приснилась старая квартира. Приснилось, как я открываю этот шкаф, снимаю с вешалки куртку. Какой-то реалистичный, бытовой сон, состоящий из простых, будничных движений. И в то же время пророческий. Потому что спустя день или два я оказался в старом “цековском” же доме, но не у нас на окраине, а в центре Москвы, из такого же кирпича, в квартире с типичной планировкой, с защелками и ручками в туалете такими же, как у нас. И только уходя из этого дома, где когда-то жил знаменитый спичрайтер вождей и всесоюзно известный журналист, и снимая куртку с вешалки из встроенного шкафа, я вспомнил этот сон. Как дежавю, как бытовое, но удивительное по своей точности пророчество.

Вся эта жизнь куда-то провалилась. Она неинтересна никому, словно ее и не было. Только эти сны и планировки квартир. Только книги, которые хранят пометы своих хозяев, записочки (“Сергулик, у нас есть много работающих ручек”), троллейбусные билеты и квитанции, оставленные десятки лет тому назад между страницами, удерживают то время.

Ощущение полного провала и отмены прожитых десятилетий оказалось ошеломляющим, как поток, которому невозможно сопротивляться, из-за военных действий в

Украине.

Вся жизнь одним движением сброшена со стола. Остается только подбирать ее осколки.

Исчезновение времени. “Миансарова или Кристалинская?” – спрашиваю я приятеля: в ресторане фоном исполняется песня начала 1960-х. Приятель прислушивается: “Скорее, Миансарова, у Кристалинской голос повыше”. Много ли людей в этом ресторане в течение дня, или недели, а может, года смогут задаться таким вопросом и сформулировать ответ? Хороший измеритель провалившегося в тартарары времени, сохранившего голос, но утратившего опознавательные знаки, титры, разъяснительную подпись под фотографией.

Мы сидим – три старых друга. Давно не виделись, поэтому основной предмет взаимного изумления – течение времени. Как быстро растут дети (шумный и смешной кудрявый мальчик лет семи – теперь двадцативосьмилетний работник консалтинговой фирмы, и понять это невозможно) и как болеют и умирают старшие родственники, которые совсем, казалось бы, недавно не были стариками. Пора бы привыкнуть. Нас троих много что объединяет, в том числе книги. И вдруг выясняется, что в подростковом возрасте каждый из нас читал книгу, которая знакома в поколении далеко не всем, поскольку речь не о Конан Дойле и Жюль Верне, – “Мой Дагестан” Расула Гамзатова. Мы даже можем кое-что процитиро-

вать из нее. Я помню эту серую обложку в серийном оформлении “Библиотеки «Дружбы народов»”. И наизусть помню многое из нее, помню и первый эпиграф – слова лакского народного поэта Абуталиба Гафурова: “Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки”. Мне не составило труда найти эту автобиографическую книгу-исповедь на полке. Здесь и эпизод с отцом Расула, поэтом и писателем Гамзатом Цадасой: мать просит детей не шуметь, потому что отец работает – читает. Чтение для писателя – это работа.

Выпал обильный снег, отчего стало светлее. Мы поставили елку. Хочется, как в детстве, спуститься к почтовому ящику, еще за три шага до него почувствовать запах свежей типографской краски, втянуть этот дивный аромат ноздрями и достать “Советский спорт” с поздравлением читателей с Новым годом – праздничный, в виде исключения синий цвет аншлага в черно-белой газете. Всё свежее: свежий снег, свежий лед, свежая газета.

Снег и снежная зима – почти единственное, что буквально способно напомнить Москву полувековой давности. Сумерки в снег – как световая ракета, сигнал, по которому, сделав уроки, пора выходить на хоккейную площадку во дворе.

И саундтрек хоккейного матча – что на дворовой площадке, что во дворце спорта – звук скрежетаемых клюшек, как потрескивающие в камине дрова.

Ощущение беззаботности и чувство безопасности. Исчез-

ло и то и другое.

Неспособность вспоминать последовательно. Память состоит из всполохов и эпизодов, иногда совершенно случайных и необязательных, но намертво застрявших в потоке исчезнувших событий. Память спит. И просыпается благодаря свету, тени, запахам, предметам, повторению обстоятельств, звуку, разговору. “Я зарастаю памятью, как лесом зарастает пустошь”.

Эмма Гаевна, ироничная армянка, – лучшая подруга мамы. Ее портрет висит на стене нашей квартиры: она неуклюже стоит на лыжах, во рту – неприкуренная, белее снега сигарета. Проезжая мимо ее дома, всегда хочу свернуть с улицы Обручева во двор. Потеря – это когда невозможно вернуть и свернуть. Место остается пустым, незаселенным, с растрепанной от невозможности вернуть человека памятью. “Никогда не возвращайся в прежние места”? Память возвращается, но это как старая киноплёнка. Есть изображение, хотя и с царапинами, могут даже добавиться светотени и запахи. Но место без человека, которого больше нет, – пустое.

Руфина Александровна, теща брата, человек, интеллектуально и духовно попадавший в такт с моими родителями, накрепко связана для меня с Новым годом. В каждый Новый год они с родителями ходили в театр, закрывая триста

шестьдесят пятый день, а после она у нас ночевала. Повторяющийся ритуал, связанный с повторяющимся событием. И его, этого ритуала, больше нет, потому что нет человека. Это как старые и старшие мои друзья, к которым привык заезжать, оттаивать и пить водку из старинного графина: хочется свернуть с Кутузовского во двор, а их там уже нет, они живы, слава богу, но уехали оттуда – и из этого города, из этого времени и места, из страны, где “отравлен хлеб, и воздух выпит” – навсегда, уехали так, как это делалось в 1970-е, без возможности возвращения. А рефлекс – свернуть! – остался, превратившись по ходу дела в фантомную боль и очень близкое, очень отчетливое воспоминание.

Исчезновение людей, читающих книги в метро. В принципе – людей, читающих бумажные книги и бумажные газеты. Исчезновение лыж. Исчезновение лыжни в парке, где привык каждую зиму наворачивать круги по привычному маршруту. Исчезновение людей, не умеющих водить машину. Исчезновение читателей, замещение их слушателями и зрителями. Исчезновение имен-отчеств, все – по имени. Исчезновение церемонности, а иногда и вежливости в обращении людей друг к другу. Исчезновение мужчин, которые просят у дам разрешения снять пиджак; гостей, которые звонят с благодарностью на следующий день после встречи; хозяев, подающих уходящим гостям пальто. Да что там – исчезновение московских домашних обильных застолий. Исчезнове-

ние дресс-кодов в театре. Исчезновение людей, носящих галстук, если только они не дипломаты, чиновники или чудаковатые старики, торжественно отправляющиеся на прогулку. Кажется, что из человеческих отношений исчезают эмпатия, сочувствие и благодарность. Впрочем, когда придерживаешь дверь, многие искренне благодарят. И это... удивляет.

“Очарованный странник с пачки «Памира»” – да это же конец пятидесятых, это моя мама в туристических шароварах и с рюкзаком за плечами, ведущая в горы отряд адолесантов из ее французской спецшколы и отважно берущая ответственность за их жизнь и здоровье.

Поверхность старой фотографии потрескалась – как полотно старого мастера, написанное маслом.

Фото, на котором на фоне нашего дома на углу Ленинского и Кравченко папа держит на руках меня, заранее меланхоличного в связи с надвигающейся громадой жизни, постепенно выцветает. Скоро от нас с ним останутся одни силуэты в акварельных тонах. В небытие мы уйдем вместе.

Рассвет в тех же акварельных тонах – цвета слабого раствора марганцовки. От него даже, как и от марганцовки, подташнивает.

Странно видеть на выставке картину, которую созерцал много раз в домашних декорациях частной коллекции. Пе-

ремещение предмета из привычного интерьера есть исчезновение его. И это – тоже укол боли. И ностальгической, и по ушедшему человеку, хозяину этой картины.

Приближение смерти: сердце сжимается, толчки его неравномерны. А завещание не составлено, коды от карточек, позволяющие членам семьи снять деньги, не записаны, имена предков на старых фотографиях детьми не выучены, да и не нужно им это, неинтересно; не указаны места хранения документов на могилы родных и близких на трех московских кладбищах. Оказывается, вот что оставляет – или не оставляет – после себя отец семейства.

Тревожный стук в висках. Стремительный пульс. Непреодолимая усталость, которую ты, трудоголик, привык подавлять, вдруг побеждает, кладет на обе лопатки: пришло повышенное давление, которого отродясь не бывало.

Но есть способ борьбы, кроме лекарств: сесть в кафе или баре в районе бывлой Пречистенской части со старым другом, чтобы не напрягаться в разговоре или молчании. Выпить водки, в случае давления – виски или лучше бренди де херес.

С возрастом, казалось бы, должна уходить (и уходит) свежесть впечатлений, а значит, и сердцебиение от ожидания. Например, ожидания моря, когда оно впервые мелькнет в окне поезда или в иллюминаторе самолета. Это ожидание приглушено, но оно осталось и его хочется передать по наслед-

ству – как когда-то показывали тебе, показывать детям: “Вот оно, море, посмотри”. И оно начинает мелькать, то появляясь, то исчезая. Как в детстве: вот оно мерцает в такт движению поезда; то, кажется, плавающее на солнце, то белое золото, то густая синяя масса, предьявляющая себя как короткий и быстрый мазок масляной краски на картине.

Море – хранитель времени и света. На картинах Хоакина Сорольи, писавшего взрослых и детей на валенсианском побережье в начале XX века, тот же свет, что и сегодня. Эти его голые мальчики, резвящиеся в волнах, эти младенцы на руках матерей уже давно сгинули в предстоявших двух мировых войнах или мирно умерли в полумраке своих испанских квартир из фильмов Альмодовара, а свет и волны остались прежними.

1960-е – это только черно-белое кино и черно-белые фотографии. Цвет появился, точнее даже, проявился в 1970-е. Как будто покрасили старое кино. Так и в воспоминаниях и снах 1960-е – черно-белые. Как черно-белая Москва в “Июльском дожде” и в “Трех тополях на Плющихе” (который, впрочем, умельцы ухитрились выпустить в цветной версии). Как Тбилиси в “Листопаде” Иоселиани. Как черно-белый Париж в “Четырехстах ударах” Трюффо.

Париж – это пять полок маминых французских книг, учебников и словарей. Реальный Париж мне сначала не понравился, потому что не был похож на тот, с книжных по-

лок, к которому я привык: из четырехтомника Гастона Може “Язык и цивилизация Франции”, из учебников того же Може и Жоржа Гугенхайма, из двухтомной хрестоматии французской литературы Андре Лагарда и Лорана Мишара, из ларусовских энциклопедий и словарей “Пти Робер”. Они были обильно иллюстрированы картинками, совсем не похожими на рисунки из отечественных учебников, и фотографиями Парижа 1950-х. Вот почему я не очень узнал Париж с первого взгляда в нулевые годы. Но потом взгляделся и понял, что найти соответствия можно, особенно на левом берегу Сены.

А запах этих книг, особенно покетбуков с крашеными обрезами, который не выветривается десятилетиями! Как-то для коллекции знакомых запахов я прихватил из библиотечного обменника в одном из афинских отелей старый покет с “Отсрочкой” Сартра. Читать это было сложно, вернее невозможно – но для коллекции, особенно с учетом превосходной обложечной иллюстрации, в самый раз.

Стоявшие на полках домашней библиотеки французские покеты расширяли представление о том, какими могут быть книги. И какими – радикально отличающимися от советских – могут быть обложечные иллюстрации. При всей фантастически талантливой и профессиональной плеяде отечественных книжных иллюстраторов с обложками была беда. Если не считать западного уровня обложек детских книг и журналов – здесь наши шли в ногу со временем, что удивительно, если учитывать закрытость страны.

А ведь эти французские книги не контрабандой приехали. На многих стоял штампик с ценой. Потоньше – 36 копеек. Чуть потолще, как, скажем, “Сирано де Бержерак”, – 55 копеек. Толстые томики – 80 копеек. Один из таких – повесть и новеллы Стендаля – с дарственной надписью: “*A notre chère Adèle Davidovna* – Нашей дорогой Адель Давыдовне от 10 «б», 1970 год”.

Закладка из кусочка бумажки во втором томе поэтической антологии Средних веков – Жан де Мен, “Пигмалион”, вторая часть “Романа о Розе”, XIII век. На обложке – миниатюра из “Романа о Лисе” (а вот рядом на полке “Роман о Лисе” в переводе со старофранцузского Анатолия Наймана, а вот “История французского языка” профессора Сергиевского, подписано к печати 14 октября 1947 года, само магическое очарование – с картами-вкладками, например, “Франция при Франциске I”). Соединенные *GF* – издательство *Garnier-Flammarion* – такой же значок детства, как овал издательства *Gallimard* с надписью “*Le Livre de Poche*” –-pocketбук (не существовавшее в те годы понятие – “всех этих слов на русском нет”). Или перо, вложенное в раскрытую книгу, – знак серии классической литературы в “карманном” формате.

А рядом – уродские книжечки в мягких обложках на серой бумаге – советские издания литературы на языке от разных издательств, включая “Просвещение”. Поприличнее, в скучных твердых переплетах, – от издательства “Прогресс”.

Даже и читать не хочется, хотя шрифт гораздо более удобный, чем в покетах.

И там же, на полках, – мамины учебники французского, по которым выучились несколько поколений учеников спецшкол, начиная с конца 1950-х и по 1970-е годы (для второго и третьего классов, с Пифом на обложке). Они связали множество людей разных возрастов, в том числе тех, кому сейчас сильно за семьдесят. Покойный ныне коллега, исламовед Алексей Малащенко учился по этим учебникам во второй спецшколе, где работала моя мама. Голос же его мамы – Галины Новожиловой – сопровождал жизнь нескольких поколений детей: от закадровой озвучки знаменитых мультфильмов (“Двенадцать месяцев”, “Дюймовочка”) до популярнейших радиопрограмм, главной из которых была воскресная “С добрым утром!”. Голос был такой оптимистический, что хотелось жить. Так переkreщиваются линии жизни – той, что провалилась в тартарары. Так хочется ее удержать и зафиксировать, хотя бы с помощью этих букв.

“Будьте нормальными, будьте обычными, будьте как все”, – наставляла мать своих сыновей, одним из которых был будущий нобелевский лауреат по литературе Орхан Памук. Он приписывал это влиянию суфийской морали. Какой морали – из осторожности, воспитанной историей страны и семьи, – придерживалась моя мама, не говоря прямо

ровно эти слова, но подразумевая их в некоторых разговорах и в оценках нашего с братом поведения? Это была советская мораль? Советская еврейская? Самооборона в отсутствие собаки иронической породы “еврейская сторожевая”. Скорее, страховка, которая могла бы помочь прожить жизнь не счастливо, но спокойно и мирно. Без тюрьмы, военной мобилизации и социальной маргинализации – значит, уже счастливо.

Удивительно (или уже неудивительно), однако это родительское ощущение вернулось сейчас и ко мне.

Библиотека. Самый главный мир. Каждый шкаф – повод для отдельных поисков и отдельного времяпрепровождения.

Эпоха, когда книга была в буквальном смысле лучшим подарком, самым естественным. Что от товарищей по совместному отдыху в санатории (“Лже-Нерон” Фейхтвангера, подаренный папе в день рождения: “...На память от товарищей по отдыху в Гагре. 25 апреля 1958 г.” – отпуск и путевку, причем без семьи, могли дать только в несезон); что в воспитательных целях – в соответствии с детскими интересами (огромный том Алпатова по истории искусств, подаренный тетей Геней брату Сереже, начинающему художнику); что от друга – надпись ближайшего товарища папы (подарок на день двадцатидвухлетия) на толстом томе, как тогда любили издавать – с двухколонной версткой, “Двух капитанов” Каверина: “Дорогому другу! Володька! Здесь хорошо описа-

на дружба. Но наша с тобой не слабее”. Как показали последующие десятилетия, это было чистой правдой...

И обязательно – обязательно! – с дарственной надписью и фиксацией даты. Или как минимум – месяцем. И с иронией: “Внукоплемяшу Сереже от теткобабушки Гени. Москва, апрель 1964 года” – надпись на форзаце “Знаменитых римлян”, пересказа Плутарха для подростков. “Моему любимому Андрюшатису от «тети» Гени, октябрь 1978” – это уже мне, “Кому на Руси жить хорошо” Верхне-Волжского Ярославского издательства со стилизованными иллюстрациями. “Тетя” в кавычках, поскольку по строгому ранжиру – не тетя, а сестра бабушки, а в домашнем обиходе – таки да. Теткобабушка, изливавшая на внукоплемянников тонны любви, не доставшейся ее собственным умершим детям. Книга, оставленная во времени не только выходными данными – сдано в набор, подписано в печать, – но и надписью, сделанной человеческой рукой.

Библиотека – это дом. Книги – хранители дома. Даже если их не читают. Они – как предметы интерьера, знакомые с детства, как чашка, к которой привык за десятилетия, – рожают радость узнавания дома. И горечь – если эта чашка утрачена, как утрачиваются частица дома или чувство дома. Именно поэтому те, у кого были дом и предметы, его формировавшие, в том числе книги, даже в те периоды истории, когда нужно было бежать от опасности, от смерти, продол-

жали цепляться за чашечки, ложечки и книги. В них – жизнь. Вне их – смерть.

В смерти тоже должен быть какой-то смысл. И передача библиотеки – как хранилища памяти – по наследству имеет смысл продолжения жизни семьи. Корешки собраний сочинений – это охрана, оборона от враждебного и безжалостного мира. Стоят рядами темно-зеленые тома Диккенса и Чехова, зеленые Гоголь и Тургенев, темно-красные Драйзер и Фейхтвангер, темно-голубой Жюль Верн и оранжевый Майн Рид и – держат оборону. Жизнь продолжается.

Отношение к вещи как к чему-то долгосрочному и глубокоуважаемому, имеющему не только стоимость, но и цену, как к одушевленной сущности – исчезло. Проще выкинуть, чем починить.

У книг выросла стоимость, но упала цена.

Утрата трепетного отношения к вещи сказалась и на фигуре продавца и ремонтника. Они потеряли лицо и самость. Если не считать крохотных мастерских металлоремонта, последних образцов жанра.

Ян Янович, сухой и строгий, быстрый и самоуважительно вежливый продавец отдела иностранной литературы на втором этаже “Академкниги” на Пушкинской (в угловом доме напротив “Известий”), всегда, как бы и куда покупатель не спешил, упаковывал книгу в охряного цвета упаковочную бумагу. Покупка книги превращалась в действие, если не свя-

ценнодействие. В оду к радости, в знак уважения к книге, пусть и потрепанному покетбуку (тем выше его ценность, он весь в шрамах от чтения людьми). Когда книга извлекалась дома из оберточной бумаги, это могло быть приравнено почти к рождению человека. В этом акте, в этом усилии было много торжественного. Чего и добивался продавец, известный тонкому слою читающей Москвы.

Хорошо помню магазин пишущих машинок на Пушкинской улице, ныне Большой Дмитровке, но услугами его не пользовался – моя портативная “Оливетти”, прототип ноутбука, появилась, когда магазин то ли исчезал, то ли уже исчез. Свои статьи для партийной прессы, для “Агитатора” или “Политического самообразования”, папа от руки писал по выходным за моим полированным письменным столом, пока я был занят другими сюжетами детской жизни. Потом, на работе, вероятно, отдавал на машинку. Точно так же работала мама над своими учебниками французского и словарями. Но там, в магазине пишущих машинок, был свой Ян Янович по имени Илья Самойлович. По характеристике Асара Эппеля, “элегантный, как эсквайр”, он “стоял в магазине на Пушкинской, заранее подавшись в сторону пока еще ехавшего в метро клиента”.

Примерно класса со второго я писал книги. Точнее, изготавливал, макетировал их: текст писался печатными буквами, иллюстрации имели “кэпшен” – подписи. Правда, кар-

тинки, отражая замысел, опережали текст: я сначала разбрасывал их по “макету” книги на много страниц вперед, а потом писал. Некоторые иллюстрации так и не удавалось догнать текстом – произведения оставались недописанными.

Как правило, они составлялись по мотивам имевшихся в библиотеке, но еще не прочитанных книг. Один из романов начинался с набело переписанных нескольких первых абзацев “Похищенного” Стивенсона. Дальше становилось скучно переписывать, и я начинал сочинять сам. В более зрелом писательском возрасте, классе в четвертом, пошли повести из текущей мальчишеской жизни с фиксацией реальных предметов и обстоятельств, например с описанием окружающей казенную дачу растительности.

“Юго-Западная” – метро из детства, куда приезжал регулярно в гости к лучшему другу в передовую двадцатидвухэтажку, на двадцать второй же этаж. Потом приезжал в гости и в юности. Выходил из вагона в тот же интерьер, с тем же освещением. Тогда казалось, что все это – подготовка к жизни, она впереди. Сейчас, выходя на “Юго-Западной” в том же интерьере, в том же освещении, подумал, что жизнь уже была и уже прошла. То, что считалось подготовкой, и оказалось жизнью, причем самой активной ее фазой. “И, стоя под аптечной коброй, / Взглянуть на ликованье зла / Без зла, не потому что добрый, / А потому что жизнь прошла”¹.

А книги на полках в этой двадцатидвухэтажке в библио-

¹ Стихи Сергея Гандлевского.

теке покойного отца моего друга – всё те же. Я радуюсь им, как старым (и постаревшим, отчасти – покинутым) друзьям.

История – в том числе личная – сохранилась в этих книгах, в их названиях, которые в детстве, конечно, мало о чем говорили. И коллекция бутылок отца друга – полвека назад все эти волшебные этикетки казались посланцами из другого мира. Особенно мне нравилась бутылка из-под виски *Cutty Sark* – исключительно потому, что в детстве я бредил парусными кораблями, а знаменитый чайный клипер был изображен на этикетке.

Не было ничего важнее морских приключений. Радио пело детским голоском: “След мой волною смое, а я на берег с утра приду опять, море, ты слышишь, море, твоим матросом хочу я стать”. Литая формула детских устремлений, если не считать индейцев – но как раз до них-то и нужно было доплыть на корабле. Или таким же манером, как Тур Хейердал. А потому главный “учебник” мореплавателя – С. Сахарнов, “По морям вокруг земли”, издательство “Детская литература”, сдан в набор еще в 1975-м, подписан в печать в начале 1976-го. Первоклассная бумага, предметный указатель, потрясающие иллюстрации, на форзацах – морская азбука, флаги Международного свода сигналов, суперобложка – корабль на старой карте. Тираж по тем временам небольшой – 50 тысяч. Дома этой книги почему-то не было, несколько раз я брал ее в библиотеке. А спустя сорок лет с жадным восторгом узнавания и возможности обладания купил в бу-

кинистическом.

Дополнительным пособием служил первый том двенадцатитомной разноцветной “Детской энциклопедии” (издавалась с 1971-го по 1977-й) – там было много важных сведений о географических открытиях и целый раздел про динозавров с картами и картинками. Из-за чего этот том рвали из рук друзья и знакомые – тогда с динозаврами, в отличие от сегодняшнего дня, была напряженка.

Карты вообще были важным подспорьем, они обязательно висели рядом с письменным столом, как и книга, доставшаяся от брата, – “Повесть о карте” Аскольда Шейкина 1957 года издания. Это тоже поколенческое и типичное для интеллигентных семей тех лет занятие – разглядывать географические карты, что выяснилось однажды из разговора с моей подругой Ирой Ясиной.

Роль же “задачника” играла книга географических загадок Михаила Ильина “Воспоминания и необыкновенные путешествия Захара Загадкина” с рисунками Анатолия Иткина. Это издание 1976 года, а было еще несколько предшествующих, с конца 1950-х, и радиопередача. Вероятно, отчасти по образцу книг о “Клубе знаменитых капитанов” и соответствующих радиопрограмм. Роскошный сборник радиопьес Владимира Крепса и Климентия Минца (издательство “Искусство”, “На волне знаменитых капитанов”) родители и бабушка – с дарственной надписью почерком отца – подарили мне в мае 1975-го в связи с посвящением в пионеры.

И как тут не задуматься о поступлении в мореходное училище. Но для этого надо было хорошо знать математику, а я ее знал не просто плохо... И потом, я все-таки решил в то время, что стану не мореходом, а хоккеистом, возможно, с последующим превращением в этнографа. Но ни Тура Хейердала, ни Владислава Третьяка, ни Хельмута Балдериса, ни Клода Леви-Стросса из меня не вышло.

Свойства перемен, отражающиеся в спорте. Хоккей изменился до неузнаваемости. Теннис – тоже. Футбол – нет. Только жесткости и прессинга стало больше. И он утратил красоту.

Еще один образец книжного долголетия – повесть Сергея Розанова, первого мужа Натальи Сац, “Приключения Травки”. Травка – прозвище пятилетнего мальчика. Вполне очевидно, что прототип – Адриан, сын Розанова и Сац, впоследствии журналист и писатель. Книга – своего рода путеводитель по практическому выживанию в Москве и Подмосковье для детей дошкольного возраста, написанный внятным языком, безукоризненно точно адаптированным для малышей – проверено на нескольких поколениях.

Первое издание – 1928 год. Москва менялась – корректировалось и содержание книги. В сильно зачитанном виде, почему-то с криво отрезанными ножницами титулом и нацарапанным на обложке бабушкиным почерком словом “Колес-

ников” (чтобы не увели знакомые детсадовцы?), есть она и в нашей домашней библиотеке. Это первое посмертное издание, оно сдано в набор в начале 1957 года, за три дня до смерти автора. На сайтах букинистов можно найти преимущественно именно его, поскольку оно было самым массовым – триста тысяч экземпляров. С чудесными и такими же внятными, как текст, иллюстрациями художника Исаака Гринштейна, известного классическим оформлением “Сына полка” Катаева, книга выходила с 1949 года. Переиздавалась в 1951-м, в 1954-м, тиражи были сравнительно небольшие.

В издании 1957 года есть все обстоятельства 1950-х: переезд семьи в новые дома в Петровском парке, оплата проезда в троллейбусе и метро, осмотр станции “Площадь Революции”, любование двумя домами-великанами – МИДом, у которого стоят ЗИМы, ЗИСы и “Москвичи”, а также МГУ. “Ты будешь в нем учиться, когда окончишь школу. Конечно, если окончишь с пятерками или по крайней мере с четверками. Ты будешь жить там высоко, где-нибудь в комнате на 32 этаже”. Вполне себе траектория формирования нового советского среднего класса. Правда, непонятно, зачем жить в общежитии, если есть прекрасная родительская квартира в Петровском парке, да еще рядом со стадионом “Динамо”.

Многое теперь вызывает боль: от музыки до игры света и тени, будящей воспоминания. Но боль уже не отчаянная, а усталая, ведь вернуть ничего нельзя. Жизнь как накопле-

ние боли, перемешанной с виной, когда память перевешивает те сюжеты, которые еще осталось прожить до естественного конца.

“Что делать? Надо жить: у нас дети”, – всякий раз говорит мой друг, заканчивая телефонный разговор. Или: “Мы то пожилы, а детей жалко”. Или: “Хорошо, что мама (папа, брат, сестра, бабушка, дедушка) не дожили до этого кошмара”.

Мама и не дожила. Хотя ее организм спортсменки-альпинистки был спроектирован для долгой жизни – если бы не рак. Ей не было и десяти лет, когда арестовали ее отца – она стала дочерью “врага народа”. Спустя двадцать два года после ее смерти сына называли “иностранным агентом”. Порочный круг прикладного сталинизма замкнулся. Выскочить из него не удалось ни нашей семье, ни стране.

В очереди на оплату ухода за захоронением. Женщина спрашивает, кто последний. И ставит обычную хозяйственную сумку на пол. Раздается гулкий звук – урна коснулась кафельного пола. Все, что осталось от человека. Банальность бесконечного, обыденность метафизического.

Жизнь как способ не вляпаться в дерьмо. Окрестности превратились в собачью площадку, нужно очень внимательно следить за тем, куда ставишь ногу. Но и оказавшись в

волшебных местах в предгорьях Алтая, оцепенело слушая тишину и давая передохнуть взгляду, я едва не вляпался в коровье дерьмо. Здесь тоже нужно ходить, внимательно следя за тем, куда ставишь ногу. И потому становится невозможным слушать тишину и давать отдых взгляду. Вот так и в жизни: все усилия уходят на то, чтобы не подорваться на этом минном поле.

Запах старой книги столь же многослоен, как аромат осенней листвы. Или бренди на хересе, или односолодового виски. Да и сама домашняя библиотека окружает как лес. Внутри этого леса, под корой книг-деревьев, идет своя интимная жизнь, прячутся невидимые секреты: записочки, рисунки, легкие листики троллейбусных билетов, спрессованные под спудом времени квитанции на давно исчезнувшие предметы одежды, уже отстиранные в химчистке и ушедшие в отстиранном виде в небытие.

Книги действительно похожи на деревья: они рассыхаются, медленно умирают и распадаются.

Запах книг – как запах леса. Он обрушивается на тебя, когда открываешь створки книжного шкафа. Особенно если на полках хранятся собрания сочинений, изданные в 1950-е, 1960-е, 1970-е. Драйзер, Фейхтвангер, Цвейг, Голсуорси, Гоголь, Тургенев, Хемингуэй, Гофман, Бальзак, Чехов, Роллан...

Такой же бриз книжного запаха встречал нас, когда Екатерина Юрьевна Гениева, управляющая моделью рая на земле, наследница Маргариты Рудомино, водила меня по Библиотеке иностранной литературы. Прикосновение к корешкам книг, как к стволам деревьев. Мы вместе радовались этим прикосновениям, обмениваясь взглядами, понимая друг друга. Понял бы нас и Карл Маркс, который называл своим любимым занятием действие, которое называется “рыться в книгах”. На стене моего кабинета висит небольшая репродукция: оксфордская профессура роется в книгах в темно-коричневых рембрандтовских сумерках книжного магазина *Blackwell*. Все они умерли; магазин остался, как и колледжи Оксфорда.

В Иностранку я приходил студентом младших курсов в годы, когда ею руководила Людмила Гвишиани-Косыгина. Я брал книги в абонементе. Однажды некий слобожанин заглянул ко мне через плечо – в метро, естественно, – его глаза пробежали по страницам “*Les Mots*” Сартра, и он недоверчиво спросил: “Ты тут что-нибудь понимаешь?” Вот так подлинно бесклассовая слобода смотрит со смесью презрения, недоверия и чувства неполноценности на Европу с ее невнятными буквами, которые лучше бы отменить совсем. А Иностранка при Гениевой распахнула все окна русской культуры и впустила воздух Запада – из этой атмосферной смеси рождалась свобода, гибельная для русских барака, казармы, портянки, окопа, нар, подворотни, неосвещен-

ного, пропитанного запахом гнили и кошек подъезда. Русская культура заканчивалась, когда в Библиотеке иностранной литературы стали бороться с иностранными же культурными центрами внутри нее и выдавливать Гениеву, которую Людмила Улицкая назвала подлинным министром культуры России, с ее поста. И Екатерине Юрьевне пришлось бороться на два фронта: с властью, двигавшейся к опричнине, одичанию и крику “Гойда!”, и с онкологией. Они ее победили. Но ведь запах книг выветрить невозможно. Библиотеки – даже если ими руководят чиновники-приспособленцы – они ведь как противоракетный “Железный купол”: зло разбивается о них, не проникает внутрь.

Книга – как лес. Есть такая на книжной полке. Большеформатная. Зеленая. Одна из любимейших в детстве. Через нее прошли я, брат, два моих сына и дочка. Виталий Бианки, “Лесная газета”, подписана в печать в мае 1955-го, Ленинградское отделение Детгиза на набережной Кутузова. Самое интересное – разгадывать викторины. Бианки опередил свое время и превратил познание леса в квест уже тогда. Чтение следов – самое увлекательное. Кто здесь ходил, что делал? Почему кора ободрана именно на такой высоте, а не на другой? Какая птица что клюет и почему? Кто тут крутился на заснеженной крыше? Где тут лисий след, а где собачий? Какой-то свой мир, очень далекий от людской суеты и подлости. Хотя в разделе “Охота” всё весьма безжалостно. По-

трясающая работа – целая галерея – художника-иллюстратора Валентина Курдова, учившегося у Петрова-Водкина и Малевича. Можно обзавидоваться: какое профессиональное счастье делать такой фолиант, самый сложный макет... И как важен формат: поздние малоформатные переиздания выглядят убого. И чем позднее, тем хуже.

Вот в эту книгу можно зарыться лицом и дышать ею, как лесом. Это запах дома. “И всё до боли мне знакомо. / Я дома, Господи, я дома. / Хоть и тогда хватало бед, / Но вечерами тихий свет / Мерцал под желтым абажуром”².

Память – это визуальные сполохи, выскакивающие эпизоды, связь между которыми утеряна. Но не всегда и не навсегда. Декабрь 1983-го, густо-синий вечер за окном кухни. В парадоксальной цветовой гармонии с ним темно-синий том – первый – из нового трехтомника Андрея Вознесенского. (“Три синих” – назовет он их в одном из стихотворений.) Потом пауза в памяти. Но следующий эпизод указывает на то, что тем же вечером я ехал в Лаврушинский переулок, чтобы найти квартиру Бориса Пастернака, кумира и идола. Вероятно, под влиянием эссе Вознесенского “Мне четырнадцать лет” в том же синем томе. Вошел в главный подъезд со стороны переулка, напротив Третьяковки, поднялся на какой-то этаж, потоптался у какой-то квартиры, которую по каким-то признакам счел пастернаковской. И ушел. Ведь заходить-то

² Лариса Миллер. “О, Создатель, дай ответ”.

было некуда. Пастернака не было вот уже как двадцать три года. “И если призрак здесь когда-то жил, то он покинул этот дом. Покинул”³.

Содержание книги иной раз откладывается в памяти не так основательно, как обстоятельства или, точнее, осязательно-обонятельный антураж чтения. “Весь с головою в чтение уйдя, не слышал я дождя”⁴. Сколько книг я прочитал, пока кормил из бутылочек молочной смесью своих младенцев, поминутно засыпавших и безмерно растягивавших процесс потребления продукта: за кормлением старшего сына в поздние восьмидесятые я освоил “Иудейскую войну” Фейхтвангера (седьмой том собрания сочинений; сдан в набор за неделю до моего рождения, в июле 1965-го). Кроме первой фразы “Шесть мостов вели через Тибр” и спорадических попыток разбудить похлопыванием по щечке ребенка, не помню ничего. И свет лампы, под которой мы сидели. Та же позиция, конец первого десятилетия XXI века, я кормлю засыпающую на руках дочь-младенца, предмет чтения – только что вышедшая “Божественная страсть” Аксенова. За окном – позднеосенняя чернота Филевского парка, единственный огонек у поворота рукава Москвы-реки – спасательная станция недалеко от причала “Кунцево”. Одна из лучших работ в мире у людей. И этот огонек – один из якорей, который

³ Иосиф Бродский. *“Я обнял эти плечи и взглянул...”*.

⁴ Райнер Мария Рильке в переводе Бориса Пастернака.

удерживает на родине.

Первые Мандельштам, Цветаева, Ахматова: папиросная бумага, разноцветные самопальные переплеты – бордовый, зеленый, синий – прямо как тома детской энциклопедии 1970-х. Это уже балкон казенной квартиры в домике в “цековском” дачном поселке. Скрип алюминиевого раскладного кресла по балконной плитке. Прогулка с невестой лучшего друга в окрестных полях, по которым, если долго идти, можно добрести и до дачи Пастернака (где она потом и будет некоторое время работать по музейной части). Прочитав мои первые литературные опыты с изобилием метафор и прочих видов тропа, невеста моего друга раздраженно рецензирует: “В конце концов, всё можно сравнить со всем”. Кажется, от нее и были эти томики стихов – на несколько дней. Сама она пишет стихи в стиле обэриутов. Потом мой друг вернется из армии; первый постармейский контакт жениха и невесты, при том что они вообще-то соседи по “Юго-Западной”, мы устроим у входа в главное здание МГУ. Ошеломленные встречей спустя два года, они будут стоять у входа в сталинскую громаду. Я и сам с некоторым недоверием буду смотреть на Мишкину бритую голову и раздавленную виришь от дурного питания морду (потом это всё будет быстро исправлено – и голова, и морда). А в тот вечер мы пойдем на джазовый концерт здесь же, в ДК МГУ...

А в детстве книги – это ведь сначала иллюстрации. Пото-

му я и собрал небольшую коллекцию старых детских книг, книжечек и журналов с иллюстрациями лучших художников. И даже скупил все находившиеся в букинистической продаже старые номера “Веселых картинок” – теперь их и не найти. Станные пристрастия: в раннем детстве я очень любил книгу Сергея Баруздина “Страна, где мы живем” со стилистически узнаваемыми иллюстрациями Федора Лемкуля. По ним потом мой младший сын (почему-то именно он из всех детей) в буквальном смысле познавал мир и совсем крошечным обожал пролистывать эту книгу. Подписана в печать (тогда писали “Подписана к печати”) в мае 1967-го – значит, я пристрастился к ней примерно в том же возрасте, что и сын Вася, года в два.

Мне страшно нравилась книга Евгения Мара – купленная еще брату, издана в 1960-м – “Чудеса из дерева”. Вот по ней видно, каким фантастическим книжным иллюстратором был Илья Кабаков. Интересно, что уже тогда я ухитрился интересоваться выходными данными. И навсегда запомнил, что Детгиз – это Малый Черкасский, дом 1. Теперь там роскошная гостиница, окруженная шикарными ресторанами... А в те времена Детгиз был окружен разными продовольственными магазинами на улице 25 Октября, включая магазинчик, поштучно торговавший конфетами, – перекресток назывался Бермудский треугольник; один из ближайших ресторанов – “Берлин”, он же “Савой”, известный своими вычурными интерьерами и фонтаном, откуда до девяти

вечера вылавливали для посетителей рыбу, а после девяти – уже самих посетителей. В кулинарии/буфете брали берлинское печенье в лимонной глазури.

А вот еще чудесный детский научпоп из времен детства моего брата – книга Георгия Елизаветина “Всею голова” (о хлебе) с иллюстрациями Виктора Дувидова. Ни у Дувидова, ни у еще одного классика, Виталия Горяева, не было своих детей, но сколько радости они принесли не своим детям, причем нескольким поколениям.

Книгу Бориса Бродского “Вслед за героями книг” с иллюстрациями Виктора Шапова я никогда не читал, зато часто разглядывал картинки. Издательство – “Детский мир”, потом его переименовали в “Малыш”.

Целая цивилизация пошла ко дну. А книги остались...

Пушкин начинался с Владимира Конашевича, с его иллюстраций к сказкам издания 1968 года (подписано к печати в январе 1966-го). Представления о разных оттенках синего – оттуда, из “картинок” к “Сказке о рыбаке и рыбке”.

Всего Пушкина и всё о Пушкине собирал папа. Мой близкий университетский друг был одержим Пушкиным, и в летние каникулы после первого курса юрфака МГУ мы совершили с ним паломничество в Михайловское. Из этого путешествия мне запомнились маленькие лягушата, во множестве скакавшие по аллее в Тригорском, и наше посещение дома легендарного директора музея-заповедника Семёна Гейченко. Впрочем, сам Гейченко отсутствовал и так и не

пришел.

В папиной коллекции есть потрясающий альбом издательства “Планета” 1979 года с текстами Гейченко и фотографиями Кассина и Расторгуева о Михайловском, Тригорском и Петровском – “Приют, сиянием муз одетый”. Удивительно, что такого качества печати достигала Первая Образцовая московская типография; про уровень работы фотографов и говорить нечего. А фото дня Всесоюзного Пушкинского праздника поэзии рождает желание провалиться во времени: оказывается, нацию может объединять не ненависть к другим и выдуманная историческая память, а массовая любовь к поэзии и к исторической фигуре не полководца, не государственного деятеля – но поэта.

В библиотеке – разрозненные тома из нескольких собраний сочинений Пушкина и полное – бордовое, десяти томное, середины 1970-х – собрание. Хотя мне больше нравился карманного формата, кремового цвета восьмитомник конца 1960-х, от которого почему-то сохранился только пятый том с “Евгением Онегиным”. От бабушки остался третий том собрания сочинений в трех томах (издательство “Детская литература”, 1937 год), “редакция текста и объяснения” Бонди, Слонимского и Томашевского. Этот том – здоровенный. А есть еще маленький, коричневый, с “Историей Петра” из шеститомника 1946 года под редакцией Бонди, Томашевского, Цявловского, подарок мамы папе на его девятнадцатилетие 25 апреля 1947 года.

...В каждом доме отдыха центрами цивилизованного общения, помимо вестибюлей, были буфет, бильярдная и библиотека. Во все эти места можно было идти на запах. Ну, буфет – понятно. Бильярдная – сигаретный дым, приглушенный свет лохматых, как бахрама на индейско-ковбойских штанах, величественных ламп. Библиотека – аромат переплетов. Всякий приезжающий в дом отдыха первым делом шел в библиотеку, чтобы водрузить на прикроватную тумбочку несколько журналов и книг, – страна-то все еще была самой читающей. Как правило, библиотека оказывалась местом спокойным и даже, если речь шла о хороших, номенклатурных домах отдыха, идиллически-комфортным. Створки дверей распахивались на какой-нибудь полукруглый балкон с креслами, откуда открывался вид на сплошную левитановскую зелень. Смешение запахов и звуков леса с волной книжных ароматов составляло упоительный обонятельный коктейль.

Книги – это еще и тактильные ощущения. Приятно волнистая голова Пушкина на обложке с торчащим, как гусеница, бакенбардом. Рай земной – голубоватый двенадцатитомник Жюль Верна – все тридцать три удовольствия: погрузиться носом в раскрытые страницы, как в букет, втянуть ноздрами этот тонкий аромат, потрогать пальцами рельеф розы ветров, якоря; и вдавленные буквы – имя писателя. Ну, и най-

ти между страницами – совсем внезапно – три старых марки. Одну французскую, с картиной Делакруа, вторую болгарскую, может, докоммунистическую, с каким-то напыщенным военным, и простенькую итальянскую, десятилитровую, с репродукцией Микеланджело. Кто оставил их в седьмом томе – я или брат?

В детстве ногтем я иногда прочерчивал типографскую краску, чтобы увидеть, как она стрелой отделяется от строки – это были особые, хотя и несколько варварские отношения с книгой. Мять книгу, хрустеть ее обложкой и корешком я продолжаю и сейчас. Хотя это немного и напоминает обращение с воблой перед ее употреблением. Но иначе книга не готова к чтению, с ней нет контакта. Мой учитель, не стесняясь, подчеркивал шариковой ручкой, иногда разными цветами, нужные строки, в том числе в стихотворениях классиков. И тогда я осмелел тоже – брал в руки не только карандаш, но и ручку: книга работала, была живой, откликалась. Нон-фикшн, а иногда и фикшн я редко читаю без карандаша, без перечня нужных страниц на форзаце, без записи попутных мыслей.

Книги – это запах и свет. В комнате бабушки пахнет лекарствами. Черные большие часы Буре стоят в углу неживым памятником эпохи – никто не удосужился их починить. На стене – портрет моего дяди, погибшего на войне в свои восемнадцать лет. Я сижу в кресле у окна и читаю ей вслух –

развлекаю – “Приключения Эмиля из Лённеберги” Астрид Линдгрен. Свет зимний, раннего вечера...

Книги – единственное наследство. Как за старшим братом донашивалась одежда, так за ним же “донашивались” и книги. Каждое следующее поколение “донашивает” их вслед за нами. Сам облик старых книг – слои семейной памяти, в том числе тактильной, как следы на страницах.

Лес – как оркестр... Ветер, как дирижер, указывает, какому дереву вступить со своей партией. Мох, черника, сосны, ели, карельские березы, вереск – погода меняется стремительно, меняется и партитура. В то лето друг отца заготовил для нашего номера в пансионате две полки переведенной на русский язык эстонской литературы – от досоветских классиков до советских классиков и далее к современной городской прозе, очень по-западному выглядевшей. Северный лес – очень правильная рамка для чтения. Не жарко, идиллически спокойно.

Первые издания навсегда определяют отношение к писателю. Первый синий томик Мандельштама был очень тонким – и о нем мы еще поговорим не раз, – но именно он сформировал представления об основе основ его поэзии. Главный Франц Кафка – это его первое издание 1965 года, черная книга с вкраплениями красного и серебра (суперобложка – сливочная с вторжением черного и тревожно полы-

хающим красным именем автора – была утрачена, вероятно, от частого употребления). Значение имеет шрифт, который иной раз, в отличие от содержания, впечатывается в память. Как и обложка. Иногда и она выполняет дополнительную функцию портрета обожаемого поэта, писателя, режиссера на книжной полке. Лицом к миру на моих полках, кроме Тарковского, повернуты Бродский, Набоков, Трифонов, Томас Манн, Олеша, Бергман, Висконти, Кесьлёвский, Ильенков...

В детстве я не читал ничего, кроме Жюль Верна, Майн Рида, Стивенсона, Лондона, Конан Дойля, Эдгара По и Альфреда Шклярского с его приключениями на разных континентах подростка Томака, сына польского революционера. В особую тетрадь записывались названия индейских племен и их географическая локализация – это был серьезный этнографический труд. Образы женской красоты черпались из “Всадника без головы”, визуализировались – из фильма “Золото Маккены”. Посмотреть его удалось далеко не сразу после выхода на экраны в СССР летом 1974-го (со времени мировой премьеры к тому моменту прошло пять лет). Фильм был “до шестнадцати” из-за сцены купания голышом героев, шерифа и Инги, а я переходил всего-то в третий класс. Унизительно и грустно было стоять за периметром деревянного дачного кинотеатра и тоскливо прислушиваться к гулким звукам приключенческого фильма, где было собрано все са-

мое главное для меня.

Тематически к этнографическим исследованиям примыкали гэдээровские фигурки индейцев и ковбоев (как тогда говорили на детском жаргоне, “ковбойцев”) и гэдээровское кино с индейскими приключениями. Индейцев родители привезли из поездки в ГДР году в 1977-м. Кажется, они в первый раз в жизни попали за границу. Остался мамин список – кому что привезти из-за рубежа. Мне – куртка и индейцы. Апачи! Настроение инструментальной музыки шестидесятых вполне соответствовало этому фону детства. Гениальная композиция Джерри Лордена “Апачи”, исполнявшаяся с начала 1960-х виртуозами-гитаристами Хэнком Марвином и Брюсом Уэлчем, служила эмоционально точным саундтреком к этим книгам и к этим фильмам... И Хэнк Марвин, с его лицом студента физфака МГУ 1960-х годов, отрывается на секунду от гитары, чтобы поправить на носу очки типичного ботана.

Я цепляюсь за библиотеку как за доказательство своей жизни и жизни своей семьи. Если раньше, до катастрофы 24 февраля, ностальгия была светлой и радостной, то после “несчастья” она стала знаком безысходности. Зря несколько поколений жили, работали, вносили свой вклад в культуру – всё это никому не нужно. Слушаешь в ютьюбе “Орэру” 1960-х с совсем молодым Бубой Кикабидзе: раньше это вызывало улыбку, теперь – слезы. Потому что оплакиваешь

историю своей сложной цивилизации, той, в которой вырос, которую опошлили, упростили, дискредитировали, уничтожили с легкостью ракетного удара. К слову, в Тбилиси в силу его аутентичной обшарпанности можно еще обнаружить слабый отзвук этого времени и шумную городскую звукопись более чем полувековой давности из иоселианиевского фильма “Жил певчий дрозд”. А пружина, сжатая в душе#, казалось бы, безвозвратно, за столом с временно веселыми эмигрантами и просто веселыми местными тбилисскими людьми временно разжимается. Так было удивительным образом всегда: мой старший друг Юрий Сенокосов рассказывал, как он уезжал в Тбилиси к Мерабу Мамардашвили залечивать раны, нанесенные ему советской действительностью в Москве. Что уж говорить о Пастернаке с его “Мельтеша, точно чернь на эфесе, / В глубине шевелился Тифлис” и благодарностью стране, не испытавшей “перерыва в своем существовании”. Об этом терапевтическом эффекте можно прочесть у Ахмадулиной в фиолетовом сборнике “Свеча” (подписан в печать 6.9.1977), по которому я в подростковом возрасте выучил ее почти всю наизусть:

Пусть всегда мне будут в новость
и колдуют надо мной
милой родины суровость,
нежность родины чужой.

Если, конечно, эта чужая родина, забыв свою исцеляю-

щую миссию для русских инакомыслящих, допускает их к себе на паспортном контроле...

...Сейчас я вижу со своими московскими друзьями чаще, чем обычно. Потому что каждая наша встреча – как последняя. Потому что мы родные люди и оплакиваем одно и то же. Наше прошлое, нашу страну, нас самих. Кто-то сопротивляется, кто-то нет. Но каждый плачет, не спит, глотает таблетки, иногда оказывается в больнице. Кто-то умирает.

И еще мы читаем друг другу стихи, которые обретают в обстоятельствах Армагеддона двойную, тройную эмоциональную силу. “Бог помочь вам, друзья мои...”

Наши объятия стали крепче. А надежда на то, что мы еще раз встретимся, становится маленькой, но целью.

И чем жестче обстоятельства, тем сильнее хочется из принципа остаться здесь, на своей Родине. Где каждый фрагмент городского ландшафта знаком и исполнен смысла, где свет, тень, запах возвращают память и те образы, из которых мы все состоим. Те свет и тень, которые, правда, в какой-то момент вдруг исчезают. Так, на днях, проезжая в бывшем троллейбусе, ныне, увы, автобусе по Тверской, я обнаружил, что дом, где жила в коммуналке моя семья и где несколько лет назад мне удалось разместить табличку “Последнего адреса” с именем умершего в ГУЛАГе деда, снесен. Если сверху нам целенаправленно сносят память, то почему людям помельче не затеять такой же снос, назвав его богатым словом “реконструкция”.

Но мы все чего-то все-таки ждем. “Знал бы Ирод, что чем он сильней, / тем верней, неизбежнее чудо”⁵.

...Осенью 2022-го я возвращался с научного семинара в Финляндии, где теперь россиян совсем не ждут – почти любых, хоть “плохих”, хоть “хороших”. В автобусе Хельсинки – Санкт-Петербург читал бестселлер страшного года: “Историю одного немца” Себастьяна Хафнера. Я примерно понимал, куда возвращаюсь, и все-таки ехал на родину. Некоторые назначенные на тот же вечер в Питере встречи с коллегами из академических кругов сорвались: в городе шли облавы на потенциальных мобилизованных. А я... Я отправился на Литейный и свернул в сад Фонтанного дома, где время, казалось, текло совершенно иначе, совсем не так, как на открытых недружелюбных пространствах питерских проспектов. Там идиллически лежали листья на скамейках, осень пахла старым книжным шкафом, в музее, кажется, как раз в окне Ахматовой горел, как успокоительное лекарство, свет. Вот куда я вернулся... Домой.

Тоска по родине не за ее пределами, а при нахождении внутри нее – это новое чувство. Изгнанники России сегодня физически и вне ее, и внутри нее. Хуже всего тем, кто в силу внутренних устоев не способен на моральные гибель и сдачу, то есть на стокгольмский синдром по отношению к тем, кто чувствует себя хозяевами страны, на “всё-не-так-однознач-

⁵ Иосиф Бродский. “В Рождество все немного волхвы”.

но”. Изгнанники ощущают себя заблокированными с двух сторон стенами непонимания – и изнутри страны, и извне. Многим – страшно. Но в тот октябрьский вечер в периметре Фонтанного дома я чувствовал себя в своей стране, стране Сахарова и Ахматовой, чувствовал себя защищенным его гербом: *“Deus conservat omnia”*. Бог сохраняет всё.

Казалось, свою долю безумия и горя страна исчерпала в сталинские годы. Оказывается, нет – всё было напрасно: и оттепель, и перестройка, и реформы с демократией, и открытость миру с потребительским бумом. Всё это оказалось обратимо.

Остается сопротивление абсурду. До того момента, пока оно возможно отсюда, где все еще есть двор Фонтанного дома. Как сказал Михаил Гаспаров (на эту цитату меня навел мой друг Денис Драгунский): “Зачем мне уезжать? Мне и здесь плохо”.

Нет катастрофы страшнее той, когда никому не нужными становятся целые культурные слои. Необходимо фиксировать память о них, потому что без памяти, без оставленных свидетельств, без описания восприятия событий не остается вообще ничего. Только варварство и варвары. Библиотека – мой участок сопротивления варварству.

Говорит “Москва”

Встречаются на полках библиотеки и пусто#ты – пропавшие, кем-то присвоенные или затерявшиеся книги. Как толстый том Булгакова, словно густо, до сального блеска заштрихованный сангиной. С предисловием Константина Симонова, 1973 года издания. Булгакова в доме много, а отсутствие этой книги – зияющая дыра...

В советской литературно-политической истории огромное значение имели тиражи. Тираж – продолжение цензуры иными средствами. Как в нашу безбумажную и непечатную (во всех смыслах) эру – замедление социальной сети или блокировка издания. Существовали даже правила, по которым выставлялись тиражи – придуманные специально, а быть может, самовоспроизводившиеся спонтанно. Например, аккуратно-пугливый тираж – не так, как пробуют ногой воду, а как боязливо входят в нее, попробовав и удостоверившись, что холодная, – это 30 тысяч экземпляров. Тут читателя поджидал ограничитель: не найдешь потом эти драгоценности в открытой продаже, только в “Березке” и номенклатурной “Книжной экспедиции”.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.